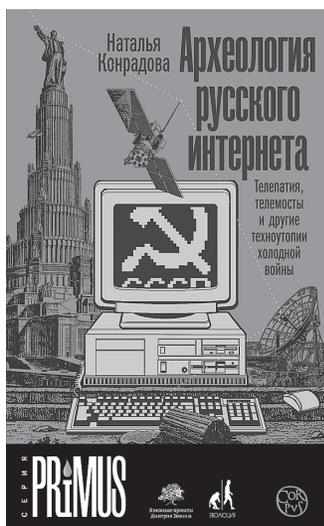


Рецензии

Археология русского интернета

НАТАЛЬЯ КОНРАДОВА

М.: Corpus, 2021. – 288 с.



1989 год, офис в Малом Афанасьевском переулке. На полу лежит матрас, на матрасе спит Джордж Сорос, миллионер и филантроп, про которого позже будут писать, что он «придумал для нас интернет» (цитата принадлежит политтехнологу Глебу Павловскому). Сорос в 1989-м приезжает в Москву не впервые, встречи с академиком Андреем Сахаровым и историком Юрием Афанасьевым уже случились, подключение к всемирной сети 33 российских университетов еще впереди, а объявление его фондов «нежелательными» (это значит, что за любое сотрудничество с ними полагаются штрафы и тюрьма) только предстоит в далеком 2015 году.

Если из «Археологии» Натальи Конрадовой однажды решат сделать кино, матрас с Соросом в Малом Афанасьевском не единственный вариант открывающей

сцены. Как насчет сеанса телепатии в советском НИИ? Или телемоста «Москва – Владивосток – Токио», для которого действовали гигантский, в 235 квадратных метров, экран из 102 900 автомобильных лампочек на Новом Арбате?

Выбрать временные рамки для книги про рунет, где уместились бы все эти эпизоды, – сложная задача. Для начала придется решить, что в книгу не войдет. «Живой журнал» и фабрика мемов *Leprosorium.ru*, «Яндекс» и «Рамблер», расцвет и разгром сетевых медиа – обо всем этом в «Археологии» нет практически ни слова, хроники привычного нам рунета с его миллионами пользователей Конрадова сознательно оставляет за кадром. Там, где начинается семисерийный документальный фильм Андрея Лошака «Холивар. История рунета», книга заканчивается. «Археология» не история, а предыстория.

Отрезок времени, которому она посвящена – с 1920-х по 1990-е, хотя захватывает и «нулевые». Только это «нулевые» XX века, время выхода романа «Красная звезда» марксиста Александра Богданова, где марсиане делятся с героем идеями цифрового (и даже *data driven*, как написали бы сейчас) управления гигантской фабрикой. Роман напечатали в 1908 году, через пять лет его автор начнет издавать отдельными главами «Тектологию» – фундаментальный труд про «всеобщую организационную науку». Богданов не вполне обычный кабинетный теоретик: в 1920-е он станет директором первого Института переливания крови, где будут заниматься проблемами омоложения и бессмертия, и погибнет во время опытов на себе.

А в 1960-е идеями Богданова начнут вдохновляться советские кибернетики,

когда станут проектировать свою «государственную сеть вычислительных центров», неслучившийся советский интернет, где компьютеры должны были управлять всей плановой экономикой. Это тупиковая ветвь, мертвая идея, как и большая часть других идей, тщательно собранных и бегло законспектированных в «Археологии».

В этом смысле книга Конрадовой – рискованное чтение, потому что на 288 страницах плотного текста слишком много всего странного упомянуто вскользь, двумя–тремя предложениями и опасность отвлечься на «Википедию» велика. Например, мы привыкли, что наша цифровая реальность построена на двоичной логике, нулях и единицах – и короткая фраза про ЭВМ «Сетунь» образца 1959 года, которая использовала трехзначную логику вместо двузначной, может увести вас довольно далеко в сторону статей про львовско-варшавскую логику-философскую школу, где концепция трехзначной логики появилась на свет в 1920-м.

Но больше внимания в книге, разумеется, отведено мертвым идеям другого сорта – техноутопиям. В первой же главе Конрадова устраивает мастер-класс: как читать прогнозы технооптимистов глазами социологов или антропологов, вынося за скобки собственно техническую часть. Вот два ученых в 1958 году дают прогноз на пятьдесят лет вперед. Один, конструктор Лебедев, обещает «библиотрансляции» в каждом селе, где студенты техникумов в единое, заранее установленное время приходят в специальное заведение слушать отобранные для них компьютером лекции. Другой, математик Котельников, предсказывает «миллионы радиостанций, работающих одновременно», – чтобы каждый житель мира мог переговариваться с каждым. В чем качественная разница? За первым угадывается старая, патерналистская и авторитарная, картина мира, где продвинутые средства коммуникации по сути – все

тот же радиорупор на столбе, голос власти. Второй прогноз удивительным образом почти буквально предугадывает современный мир горизонтальных связей, где люди со смартфонами («миллионы радиостанций») предпочитают общаться друг с другом, а не с государственной диспетчерской знаний. Любопытно, что первую советскую компьютерную сеть спроектировал автор первого прогноза – и это кое-что сообщает о том, почему она не имела шансов превратиться в знакомый нам интернет.

Даже за всеобщей верой 1960-х в управленческие таланты ЭВМ исследователи, которых цитирует Конрадова, видят травму недавно закончившейся сталинской эпохи: когда авторитарная власть непредсказуемо казнит и милует, идея доверить власть рациональным машинам кажется хорошей альтернативой. «Если не Сталин, то AI».

Ставка на рациональное и научно обоснованное не значит, что ваши мотивы или методы рациональны на все сто. Хрестоматийный пример – полеты на орбиту, которые стали возможны благодаря русскому космисту Константину Циолковскому и его учителю Николаю Федорову. Федоров, создатель «философии общего дела», видел в освоении других планет важный практический смысл – там можно будет расселить мертвых, как только человечество оживит их всех.

Советских кибернетиков 1960-х тоже занимала идея добиваться бессмертия при помощи техники. А еще – идея обмениваться мыслями на расстоянии и мобилизовать дополнительные органы чувств. К привычному нам описанию культуры оттепели, где ключевые фигуры делятся на физиков и лириков, у Конрадовой добавляются мистики – хотя физики и мистики в этой истории часто одни и те же люди.

Однажды меня привели в гости к Михаилу Смирнову¹, почти что столетнему старику – в 1950-е он вместе с другим советским кибернетиком Михаилом Бонгардом пытается придумать то, что позже назовут «машинным обучением», и решить проблему *reinforcement learning* – превратить машину из оракула, который проглатывает данные и выдает ответ «да/нет», в игрока, способного действовать в меняющейся среде по обстоятельствам.

При помощи их алгоритма «Кора» нефтяники станут искать нефтеносные пласты следующие несколько десятилетий, а их переведенную на английский работу про распознавание образов будет цитировать Хофштадер в «Геделе, Эшере, Бахе» – наверное, самой сюрреалистической из книг про математику и мышление, которая когда-либо получала Пулитцера за научпоп.

Мне – как научному журналисту – не терпелось поговорить про ламповые ЭВМ и спросить, правда ли программа «Животное» была прототипом кадавра профессора Выбегалло у Стругацких. Но разговор ушел в неожиданную сторону. Бонгард со Смирновым, как оказалось, писали научные статьи про «кожное зрение» экстрасенса Розы Кулешовой, при помощи тогда еще не запрещенного психоделика псилоцибина пытались разбудить у подопытных способность к телепатии – и все это слабо вязалось с представлениями о том, чем могла заниматься советская материалистическая наука.

До «Археологии» для меня все это так и выглядело зарисовкой про странноватое хобби больших ученых – в истории науки много примеров, когда знаменитый радиофизик бросает все прочие исследования, чтобы изучать, бывает ли у растений

смертельная агония и чувствуют ли они боль (это случай Джагдиша Чандры Бозе). Или нобелевский лауреат тратит все силы на продвижение идеи, что СПИД – одна большая мистификация (а это Кэри Мюллис, изобретатель знакомого всем благодаря коронавирусу метода ПЦР).

Книга Конрадовой заставила эти разговоры 15-летней давности вспомнить и переосмыслить: никаким хобби это, разумеется, не было: в СССР 1960-х кибернетикой и паранормальным занимались одни и те же люди по работе.

Смирнов и Бонгард работали в ИППИ – Институте проблем передачи информации. Институт существует до сих пор: 400 научных сотрудников, по большей части математиков или биологов, занимаются темами от топологии и динамических систем до расшифровки генома. Наверное, самый медийный из ученых института – биолог Александр Панчин из Комиссии по борьбе с лженаукой РАН, автор лекций и книг про борьбу со лженаукой, будь то движение «антиваксеров» или гомеопатия с телегонией.

Тем интереснее, что в 1960-е институт с туманным названием начинает работу как раз с исследований паранормального. Лаборатория Дмитрия Мирзы с самого начала исследует «электромагнитную гипотезу передачи мыслей на расстоянии», то есть телепатию – которая в тот момент еще не считается чем-то до неприличного ненаучным. В Ленинграде для изучения телепатии открывают «лабораторию биотелесвязи» при ЛГУ. Про телепатию рассуждают даже пионеры в советской комедии про пионерлагерь «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», а газета «Комсомольская правда» – в 1959 году она никакой еще не таблоид, а официальный печатный орган ЦК ВЛКСМ – печатает статью «Радиопередача мыслей». В 1966 году в СССР выходят

1 О Михаиле Смирнове можно прочесть у Юлии Вишневецкой: <https://kunstkamera.livejournal.com/109610.html>.

целых 152 публикации про телепатию, из них негативных – всего 15. В популярной книжке «телепатическую пару» людей – один из которых передает мысли, а другой принимает – прямым текстом называют «кибернетической системой», раз уж речь идет про прием и передачу информации.

Наконец, в телепатию и «биотоки» верит академик Виктор Глушков, главный архитектор советской компьютерной сети, и еще сколько-то влиятельных в советской науке людей. Этого недостаточно, чтобы получить убедительные результаты экспериментов (много лет спустя вообще окажется, что старт активным исследованиям телепатии дала статья-фейк во французском журнале про военный телепатический эксперимент на подлодке), но достаточно, чтобы начать организовывать конференции, на которые начинают приезжать энтузиасты парапсихологии из Америки.

И эти конференции для проникновения будущего интернета в СССР окажутся важнее, чем исследования советских кибернетиков и, само собой, эксперименты по телепатии.

Раз у советских кибернетиков не получилось сделать советский интернет, то откуда тогда в СССР взялся американский? К нему советских людей подготовили телемосты, утверждает Конрадова. В разгар пандемии – когда «Археология», наверно, уже ждала верстки – это архивное слово попробовал сделать снова популярным «Яндекс» и назвал «Телемостом» свою альтернативу *Zoot*. А в 1980-е телемосты были попыткой уместить в окошко зума целую страну – на одном конце провода США, на другом СССР – и заодно в процессе придумать тему для разговора.

«Теле-» в этом случае, доказывает Конрадова, имеет не меньше отношения к теле-

патии, чем к телевидению – хотя бы потому, что и «первый трансатлантический сеанс телепатии» 1971 года, и первый международный телемост 1982-го организовывали примерно одни и те же люди. Кроме того, первый телемост никто не собирался показывать в прямом эфире, его видели только непосредственные участники: в СССР – примерно сотня человек в московской студии, с Аллой Пугачевой и группой «Воскресенье» у микрофонов; в США – участники музыкального фестиваля в Калифорнии, затеянного сооснователем «Apple» Стивом Возняком. На *YouTube* можно найти запись, которую когда-то выложил телеканал «Ностальгия», в книге Конрадовой – подробности, которые остались за кадром: большую часть времени телемост был односторонним, потому что в Калифорнии промоутер группы «Grateful Dead» выдернул кабель, чтобы «прервать провокацию КГБ» – и советскую студию перестали показывать.

Никакой эзотерики в процессе передачи сигнала задействовано, разумеется, не было – но инициаторами созвона на обоих концах провода были не министерства и ведомства, а энтузиасты парапсихологии с непонятным статусом. Советский сценарист телемоста Иосиф Гольдин – человек с ошап-бендеровской биографией, который в 1970-е успевает и поработать матросом на Крайнем Севере, и создать официальную парапсихологическую комиссию при Академии наук (в ее составе несколько академиков, знаменитый хирург, «ясновидящая» Джуна и автор методики родов в воду). По другую сторону трансатлантического кабеля контакты налаживал нью-эйджевский *Esalen Institute*, где устраивали лекции Тимоти Лири и встречи с посланцами с Сириуса».

Самая тонкая логическая связка в книге – пожалуй, утверждение, что сама парапсихология, ее содержательная часть, сыграла здесь ключевую роль. Более простым объяснением кажется, что сработал эффект

удачной экологической ниши, которая притягивала людей, способных успешно заниматься странным. В жестко структурированном советском обществе, где и у физиков, и у лириков, и у чиновников были свои жесткие иерархии с понятными правилами продвижения по карьерной лестнице, вокруг «резервных возможностей человека» образовалась серая зона, куда можно зайти с черного хода – и это давало неожиданную власть. Военные уважают, ученые готовы разговаривать на равных, диссертации защищать не обязательно – и при этом можно общаться с иностранцами.

Для жителей СССР телемосты, *Usenet*, а потом и интернет приоткрывают эту возможность в новом качестве. В какой-то момент отвлекаешься от центральной нити повествования, на которую нанизываются эзотерики, ИППИ, телемосты, ленинградский телефонный эфир 1980-х (когда звонки на специальный технический номер приводили в своего рода чат-комнату) и американские BBS, ранние прототипы соцсетей – и начинаешь отмечать для себя, насколько разного сорта проблемы будущий интернет обещал решить здесь и там.

США 1974 год, один из разработчиков сети ARPANET, прототипа будущего интернета, подключается к серверу и оставляет коллеге в другом городе электронное сообщение, чтобы тот привез ему забытую в гостиницу бритву – и из этого диалога рождается идея чатов и телеконференций. Доступ в сеть – способ упростить себе быт, сделать жизнь чуть-чуть удобнее. Фантастика, но тот ее жанр, где фигурируют самозавязывающиеся шнуры и ховерборды.

А в СССР это обещание заглянуть за непроницаемую стенку, поговорить с людьми из зазеркалья – такое же невероятное, как идеи отца кибернетики Норберта Винера

про «путешествия по телеграфу» или трансгуманистские рассуждения академика Глушкова про бессмертные цифровые слепки сознания.

Когда через границу зазеркалья все-таки удастся прорваться, это воспринимается как что-то сверхъестественное по обе стороны от нее. В предпоследней главе по нескольку страниц посвящено случаям анекдотическим и незначительным: вот в 1990-м в *Usenet*-конференции обнаруживают (и долго обсуждают) подростка из Ленинграда, который выдает себя за женщину, а вот в 1992-м шумно удивляются живому русскоязычному марксисту. Через год после распада СССР такие ситуации все еще штучные – культурные границы реальнее физических. А потом одни и другие границы начинают преодолевать сотнями и тысячами:

«В начале 90-х Юзнет стал местом, где впервые в истории русскоязычные пользователи общались с западными вне каких-то институций и установленных государствами правил» (с. 196).

Но это все равно история про сотни и тысячи экзотических пришельцев на чужой территории. Рунет 1990-х (что интересно, слово «рунет» придумают только в 1997-м) – территория эмигрантов. Прежде всего тех, кто перебрался в западные университеты и там получил доступ в сеть: интернет все еще университетское развлечение, а основное время наплыва новых пользователей всемирной сети – сентябрь, когда в кампусы приезжают студенты и аспиранты.

Первые русские интернет-проекты делают понятнее эмигрантский опыт этих людей. Отталкиваясь от этого – вроде бы очевидного – знания, Конрадова реконструирует происхождение русских электронных библиотек. Они оказываются своего рода ответом на вопрос из пионерлагеря – «Какие книги ты возьмешь с собой на необитаемый остров?». С уточнением, что «необитаемый

остров» – MIT или Принстон, а пересекать границу книги будут на дискетах.

Раньше всего в интернете оказываются тексты, которые оцифровали, чтобы их можно было распечатать:

«С одной стороны, дефицит неподцензурной литературы, а с другой, – огромное количество вычислительных центров, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов с компьютерами, принтерами, а иногда и переплетными мастерскими» (с. 203).

Поэтому русский интернет начинается с самиздата и выпуска просто труднодоступных в перестроечном и предперестроечном СССР книг, в результате чего библиотеки получают довольно эклектичными, как в этом немного борхесовском списке:

«“Срамная” поэзия XIX века (стихи Ивана Баркова, поэма “Лука Мудищев”), книга Венедикта Ерофеева “Моя маленькая Лениниана” (в СССР была опубликована в самиздате), рассказы Даниила Хармса, а также тексты юмористического клуба Новосибирского университета “Контора братьев Дивановых” и ленинградской художественной группы “Митьки”» (с. 205).

Рядом – Стругацкие, тексты песен Высоцкого и коллекции анекдотов.

Если русский интернет был средством преодоления цензуры и границ и состоялся усилиями уехавших из России на Запад, то проще всего увидеть в нем инструмент борьбы партии тех-кому-душно с партией тех-кому-дует. С одной стороны баррикад – космополиты, желающие свободного обмена идеями поверх барьеров, с другой – сторонники границы на замке.

«Археология» делает многое для того, чтобы эту упрощенную картину мира сломать.

Конрадова прослеживает, как консервативная идея «русского мира» вырастает в 1990-е из обсуждений работ про сетевые структуры испанского социолога Мануэля Кастельса. Чтобы быть частью такой структуры вместе с другими людьми, рассуждал Кастельс, не обязательно жить в одном городе или стране. После 2014-го «русский мир» объединил, кажется, всех антизападников и сторонников цензуры в России – и, похоже, идея создать отдельный изолированный интернет в этой среде непротиворечиво уживается.

Когда-то пионер искусственного интеллекта Марвин Мински придумал игрушку-автомат – коробочку с кнопкой. Если на кнопку нажать, у коробочки открывается крышка, из нее высовывается рука, жмет на кнопку, и крышка захлопывается снова. Иногда кажется, что в интернет – тот самый, который сломал границу с зеркальцем и поменял наши представления об общении и свободе, – тоже был запятан какой-то такой механизм, запирающий двери обратно.

БОРИСЛАВ КОЗЛОВСКИЙ

Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью

ПИТЕР ПОМЕРАНЦЕВ

М.: Индивидуум, 2020. – 288 с. – 4000 экз.

Живой и любознательный человек, полагающийся на популярную культуру и из нее черпающий свои сведения об Атлантиде, с вероятностью, в сто, в тысячу раз большей, наткнется на некритически передаваемый миф, нежели на трезвый и взвешенный разбор.

КАРЛ САГАН. «*Мир, полный демонов*»

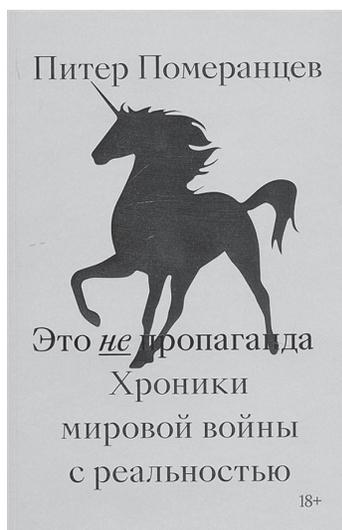
Автор этой книги, пару лет назад вызвавшей на англосаксонском книжном рынке немалый переполох, – потомок диссиден-

Ч

267

НОВЫЕ КНИГИ

тов, высланных из Советского Союза на исходе 1970-х. Читатели постарше, возможно, вспомнят радиопередачи, которые готовил его отец, литератор Игорь Померанцев, работая сначала в русской редакции Би-би-си, а потом на радио «Свобода». Сам автор, ставший в силу обстоятельств собственной жизни настоящим космополитом, подолгу жил в разных странах, включая и Россию, где занимался писательством, а также печатной и телевизионной журналистикой. Померанцев издал несколько книг, хотя самую большую известность ему принесла именно рецензируемая работа. Учитывая ее тему, удивляться этому не стоит: публикацию можно считать своеобразным справочником для тех, кто хотел бы разобраться в механизмах политического влияния в эру интернета.



Композиция книги выстроена весьма оригинально: не упуская из виду основную тему, автор постоянно вплетает в повествование биографический нарратив своих родителей, немало претерпевших от советской власти в период ее величия, но, в конце концов, благополучно спасшихся от «развитого социализма». Такой прием, кстати, безоговорочно эффективен: своей достоверностью автор словно распола-

гает к себе читателя, придавая транслируемым смыслам не только общественную, но и личностную значимость. Иначе говоря, Питер Померанцев изучал законы пропаганды совсем не зря, хотя, несомненно, реминисценции советской поры на страницах книги выглядят не только уместными, но и необычайно живыми – особенно для того читателя, которому пожить в СССР не довелось.

Авторские рассуждения открываются констатацией того, что фундаментальные понятия демократии и свободы, на которых вот уже двести лет стоит европейская цивилизация, в наши дни ускоряющимися темпами теряют свое значение. Отсюда, собственно, выводятся и две основные цели исследовательского предприятия. По мнению Померанцева, во-первых, необходимо выяснить, из-за чего в новом мире информационного изобилия, утвердившемся после завершения «холодной войны» и поначалу обещавшем безграничное торжество свободы и демократии, растворяются и испаряются смыслы самых важных слов. И во-вторых, стоило бы понять, как решить образовавшуюся проблему и, тавтологично выражаясь, «вернуть реальности ее реальность». Рискую приличиями, не рекомендуя добросовестному читателю забегать вперед, я все же отмечу, что способам преодоления кризиса, спровоцированного гибелью факта и утверждением «постправды», автор отводит непозволительно малое место – всего несколько страниц. По большому счету, работа всесторонне раскрывает и описывает суть произошедшей поломки, но не дает инструкцию, как устранить опасное повреждение.

Размышляя над поставленными вопросами, автор, к ностальгической зависти многих российских (а в эпоху коронавируса, полагаю, и не только российских) читателей, вольготно перемещается по земному шару, заглядывая в самые разные его уголки – от огромной и холодной России

до крошечного и жаркого Бахрейна, от неважно пахнущей столицы Филиппин до утопающего в цветах и мусоре Мехико. Его собеседниками в этих странствиях выступают непохожие друг на друга люди, мужчины и женщины, которых тем не менее объединяет одна принципиальная вещь: все они сильно озабочены тем, чтобы превратить интернет, это пресловутое «орудие свободы», из генератора лжи, каким он сделался в последние годы, в генератор правды, каким он представлялся на заре своего появления на свет.

Бесспорно, Померанцев проделал изрядную работу, занимаясь выяснением того, почему мир в информационную эпоху ничуть не сумел приблизиться к светлым идеалам свободы и демократии. Тем не менее приходится признавать, что в основу всех этих изысканий было заложено не слишком корректное модернизационное допущение: из авторских рассуждений получается, что стоит только исстрадавшимся от деспотизма народам формально усвоить западные ценности, снабдив их подобающими политико-правовыми декорациями, как эти народы незамедлительно превратятся в поборников свободы, демократии и прав человека. Причем важно отметить, что под действие этой предпосылки подпадают не только постсоветские государства, но и страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. (Африка почему-то автора не вдохновляет.) Впрочем, линейная разновидность модернизационной теории критиковалась не раз, и поэтому разбираться здесь в ее изъянах заново нет нужды.

В книге шесть частей, в каждой из которых автор заглядывает за кулисы театра, где сценой выступает интернет-пространство, а актерами служат пользователи сети. Все начинается с сопоставления России и Филиппин – двух государств, руководители которых научились использовать свободу выражения мнений, лелеемую любым демократом, для уничтожения всякой оппози-

ции и самой демократии (часть 1 «Города троллей»).

«Прежние методы замалчивания и давления утратили свою силу, немногие режимы в наши дни могут помешать людям получать и распространять информацию, как это было в Советском Союзе. Однако сильные мира сего адаптировались, и теперь инакомыслие подавляется с помощью шаек в соцсетях и киберополченцев» (с. 51).

В нынешнем мире можно утвердить свою информационную гегемонию, вообще не прибегая к запретам и ограничениям – для этого достаточно лишь «дружить» с интернетом и уметь в нем работать. Проведя полевые исследования в ряде стран, автор детально рассказывает о том, насколько похоже функционируют финансируемые государством российские, филиппинские и иные «фабрики троллей». Любопытно, что главной героиней филиппинской части повествования стала Мария Ресса – журналистка, которая уже после ее бесед с Питером Померанцевым и выхода этой книги была отмечена Нобелевской премией мира.

Рассуждая далее о технологиях «ненасильственного свержения диктатуры», использованных, в частности, в Сербии против режима Слободана Милошевича на рубеже 1990–2000-х (часть 2 «Демократия у моря»), автор говорит, что на протяжении двадцати лет кому-то могло показаться, что обращение к протестному ненасилию неизменно гарантирует успех. Подобное представление, однако, оказалось неверным, поскольку со временем диктатуры нашли довольно эффективные методы, позволяющие гасить ненасильственное сопротивление. Манипуляции с виртуальной реальностью способны превратить протест в пародию, разрушая его изнутри. Используя широкое разнообразие конспирологических теорий, а также опираясь на анонимность коммуникации в социальных сетях, власти во многих странах на-

учились эффективно справляться с сетевым возмущением.

«Трагедия цифровой манипуляции состоит не столько в том, что люди в сети подвергаются унижениям и оскорблениям, а в том, что их вновь лишили их собственной реальности. Люди принимали реальность, навязанную им режимом, как норму. В наши дни боты, тролли и киборги могут создать иллюзию общественного мнения – поддержки или ненависти, намного более коварную и всеобъемлющую, чем старые виды медиа» (с. 93).

Подтверждения этого вывода представлены в кейсе, касающемся информационного оформления «крымской весны» 2014 года и последовавшей вслед за ней войны на Донбассе (часть 3 «Самый удивительный информационный блицкриг в истории»). Если в прежние времена, напоминает автор, войны развязывались, как правило, для захвата вражеской территории, то в современных конфликтах на первый план выходят информационные аспекты противостояния: противники занимают мифотворчеством, призванным переманить население на свою сторону. По мере разворачивания украинского кризиса «реальное положение вещей почти никого не волновало; обоим правительствам [украинскому и российскому] нужны были лишь аргументы для подкрепления своих версий» (с. 152). Померанцев собрал интереснейшую фактуру, показывающую, насколько вольно в украинском конфликте интерпретировалась реальность. «Я верю в силу дезинформации для той стороны и медийной грамотности для моей стороны», – откровенничал с автором один из бойцов информационного фронта (с. 138). Главная беда в том, что значение факта – «того, как было на самом деле», – в подобном контексте до предела обесценивается, а грань между правдой и неправдой упраздняется. Так создается поле для дискретных суждений, выносимых по принци-

пам «мне по душе» или «мне не по душе». Украинское противостояние многократно подтверждало, что, «сталкиваясь с конфликтующими версиями реальности, люди выбирали ту, которая больше их устраивала» (с. 144). Война же в подобной ситуации превращается в подобие игры, которую можно вести бесконечно.

Девальвация фактологии обнаруживает себя не только в российско-украинских отношениях. Пренебрежение фактом показательным образом было продемонстрировано и в двух других контекстах, которые подробно освещаются в книге: в гражданской войне в Сирии и в президентской избирательной кампании 2016 года в США (часть 4 «Субъективные факты»). Дональд Трамп, например, показательным образом смог выиграть ту гонку, несмотря на то, что 76% его публичных заявлений, прозвучавших в тот период, оказались «в основном ложными» или «явно ложными» (с. 165). Между тем, пока правительства и отдельные деятели пичкают людей теориями заговора, выстраивая мир, в котором, по словам автора, «никакой объем доказательств не повлечет ответственности», архивы продолжают пополняться свидетельствами военных преступлений, до которых никому нет дела: им предстоит пылиться на полках в ожидании «часа, когда факты вновь обретут смысл» (с. 191–192). (От себя добавлю, что в свое время торжество этого принципа предвосхитил Оскар Уайльд устами главного героя «Портрета Дориана Грея». «Если не говорить о чем-то, – размышляет он, – то это как будто и не случилось».)

Всего за несколько десятилетий с фактом произошла поразительная метаморфоза. В эпоху тоталитарных режимов людям казалось, что они были бессильны из-за того, что факты от них скрывали; отсюда происходила надежда, что пришествие правды станет подлинным освобождением. Сегодня же «у нас больше информации, чем когда-либо, но, кажется, факты потеряли былую

силу. В том, что политики лгут, нет ничего нового, но непривычно другое: они сознательно демонстрируют, что им плевать, говорят они правду или нет» (с. 165). Еще более пугающим это наблюдение выглядит в свете того, что оно применимо как к авторитариям, так и к демократиям.

Новый тип мышления, способствующий гибели факта, задается набирающим силу в последние десятилетия культом идентичности. По мнению автора, в наши дни культивирование идентичности потеснило многие прежние ценности, а вся политика крутится вокруг их создания (часть 5 «*Pop-up* народ»). Между тем такой контекст явно обеспечивает простор для политических манипуляций. Разрозненное общество отказывается объединяться, а новое представление о народе все равно приходится лепить из осколков старого, поскольку иного материала, кроме «наций» или «классов», под рукой нет. Но старые системные понятия предстают в новые времена пустыми формами. Социальные сети, превратившиеся в базовые платформы коллективного общения, объединяют людей по разным признакам, но опытный политтехнолог всегда может связать электоральное поведение с тем, что для интересующей его группы важнее всего. Именно поэтому «природа социальных сетей поддерживает идею популизма как стратегии» (с. 221). Разумеется, рождающаяся в умелых руках эфемерная конструкция – отнюдь «не признак объединения “народа” в одно великое целое, а следствие того, что “народ” находится в более раздробленном состоянии, чем когда-либо, уже почти не являясь нацией» (там же). Ущербность коллективистского мышления, стимулируемого популизмом, в том, что человек мыслит себя в первую очередь частью группы, теряя индивидуальность: «друзья» группы становятся его друзьями, «враги» группы делаются его врагами. Социальное позиционирование группы, таким образом, не

нуждается в какой-либо фактологической базе, поскольку задается автоматически: «Вы не пытаетесь выиграть спор в публичной сфере с помощью свидетельств и идеологических концепций; ваша цель состоит в том, чтобы окружить аудиторию вербальной стеной» (там же). Справедливо указывая на то, что сначала описываемое им будущее наступило в России, автор делится любопытными наблюдениями из своего опыта проживания в Москве в 2001–2010 годах.

Завершая книгу, британский журналист пытается выступить с чем-то вроде рекомендаций, позволяющих оздоровить нынешнюю онлайн-жизнь (часть 6 «Будущее начинается здесь»). Предлагаемая рецептура не слишком впечатляет, поскольку она, прямо скажем, не богата. Да, индивиду нужно получить более широкие права по управлению интернетом: он должен сам определять, какая информация о его жизни может оказаться в чужих руках и с какой целью. Но как добиться этого? Да, стоило бы изменить новостную политику демократических стран, выдвинув на первый план так называемые «конструктивные новости», поддерживающие спрос на факты. Но где инструменты для этого? Да, свобода лучше, чем несвобода – но что дальше? В целом приходится признать, что красочные описания тех безобразий, которые творят в интернете авторитарные и популистские силы, дается Померанцеву легче и воспринимается живее.

В финальном выводе, однако, автор категорически прав. Неустанно перекладывая ответственность за недоброкачественность современного мира на какую-то внешнюю силу – массовую культуру, СМИ, коррумпированных политиков, корыстных капиталистов, пронырливых политтехнологов, – мы как будто бы заранее поднимаем белый флаг, соглашаясь с тем, что за нас все уже решено и просчитано. Отсюда, собственно, проистекает такая разновид-

ность «экономичного» мышления, как теории заговора. Между тем, умывая руки, мы откладываем в сторону самое могучее свое оружие – человеческий разум. И ничего не изменится ровно до тех пор, пока мы не спросим себя: действительно ли нам не дают критически мыслить – или же мы сами не хотим этого? Если бы мне предложили единственным словом передать, о чем рецензируемая книга, то я сказала бы: она о невежестве. Благодаря Питеру Померанцеву еще одной «Похвалой глупости» стало больше – и это хорошо. Но еще более важно, однако, сделать следующий шаг: от изобличения глупости перейти к ее искоренению. Причем заранее понятно – иных средств, кроме просвещения, просвещения и просвещения, для этого не существует. Даже в эпоху интернета.

МАРГАРИТА ШАКИРОВА

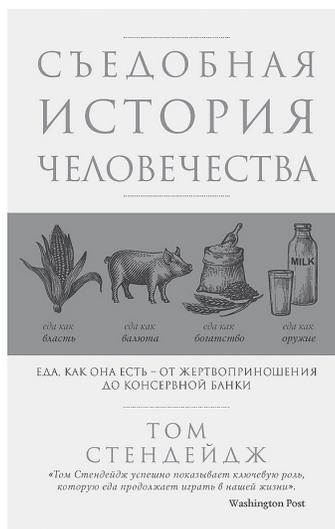
Съедобная история человечества

Том Стендейдж

М.: Эксмо, 2021. – 304 с. – 2000 экз.

Историческое изыскание, как известно, можно выполнять в разных регистрах, причем каждый из них будет раскрывать перед исследователем что-то свое, оригинальное и специфическое. Представляемая книга сполна подтверждает эту истину: в ней история человечества изображается чередой трансформаций, происходивших под влиянием того питания, которым поддерживали себя люди на разных этапах своего цивилизованного существования. Для автора, который является редактором журнала «The Economist» и много пишет на разнообразные научные темы, еда стала культом вполне буквально: он считает ее катализатором социальных изменений, геополитической конкуренции, экономического развития, военных конфликтов –

иначе говоря, универсальным двигателем едва ли не всей человеческой деятельности. Хотя в наш век потребительства о питании пишут с избытком, автор не сомневается, что всемирно-историческое влияние пищи, потребляемой человечеством, пока не удостоилось адекватного исследовательского внимания. Отсюда и главные вопросы, на которые пытается ответить эта книга: во-первых, какие продукты внесли наибольший вклад в формирование мира в том виде, в каком он предстает перед нами сегодня, и, во-вторых, как потребляемая человеком пища предопределяет дальнейшее развитие цивилизации?



На ранних стадиях общественного развития первостепенная роль досталась трем злаковым культурам: пшенице, рису и кукурузе (часть I «Съедобные основы цивилизации»). Всю эту троицу предвзительно пришлось в той или иной мере одомашнивать; кукуруза, например, вообще не встречалась в природе как продукт, готовый для употребления в пищу. Постепенная генетическая трансформация упомянутых злаков, направляемая человеком, привела к тому, что и пшеница, и рис, и кукуруза утратили навыки выживания в дикой природе, но зато заложили фундамент

цивилизационного развития в нескольких регионах планеты. Став более зависимыми от человека, три ключевых продовольственных культуры, а также их «младшие братья» – ячмень, рожь, овес и просо – гарантировали людским коллективам более обильную пищу, позволившую внедрить общественное разделение труда. За перемещением сельского хозяйства из мест, где оно первоначально возникло, последовало распространение крестьянских общин, и довольно скоро число земледельцев превысило число охотников: «К 2000 году до н.э. большая часть человечества занялась сельским хозяйством» (с. 39).

Сегодня в этой отрасли экономики заняты 40% человечества, то есть больше, чем в любой другой сфере человеческой деятельности, причем под нее отводится примерно такой же процент площади земного шара. Как и в древности, пшеница, рис и кукуруза, поддерживавшие самые ранние цивилизации, по-прежнему обеспечивают базовую часть калорий, потребляемых людьми. Лишь небольшая доля продуктов поступает сегодня из естественных источников, считаясь натуральной: это рыба, моллюски, лесные ягоды, орехи, грибы. Зато всю остальную пищу с полным основанием можно назвать искусственной. «Почти все, что мы едим сегодня, является результатом селекции – сначала непроизвольной, а затем более осознанной и осторожной» (с. 40). Даже привычная оранжевая морковь, как это ни удивительно, выведена человеком. Изначально она была белой и фиолетовой, а более сладкий оранжевый сорт был представлен голландскими садоводами лишь в XVI веке – в качестве дани уважения Вильгельму I, принцу Оранскому, обновившему местную государственность. В целом культивация повлияла на окружающую среду больше, чем любая другая деятельность человека.

Приобщившись к сельскому хозяйству, люди не только стали жить оседло, но и

разделились на властвующих и подчиняющихся (часть II «Еда и социальная структура общества»). Соответственно, доступная для тех или иных групп пища превратилась в мощный и выраженный фактор общественного размежевания: «В древнем мире еда была богатством, а контроль над ней – властью» (с. 45). История о том, как присвоение продуктовых излишков, производимых крестьянами, позволяло элитам содержать чиновников, солдат и ремесленников, рассказывалась специалистами многократно и на разные лады. Автор же в этой связи сосредотачивается на другом сюжете: с его точки зрения, гораздо важнее разобраться в том, почему общество, в конце концов, смирилось с теми практиками накопления еды, которые изначально считались дестабилизирующими и несправедливыми. Согласно предлагаемому в книге ответу на этот вопрос, протонародье, соглашаясь на принудительное изъятие части продовольствия элитами, рассчитывало получить кое-что взамен. Труженики в массе своей полагали, что «работающие ирригационные системы, безопасность, религиозные обряды для поддержания плодородия почвы, посредничество в спорах стоят того, чтобы заплатить за них предложенную цену» (с. 61). Социальная эксплуатация в свою очередь позволяла производить больше еды и тем самым повышала ее общественную ценность. Продукты питания и средства их производства использовались для уплаты налогов, ими награждали за военные победы, а религиозно мотивируемые подношения и жертвования еды поддерживали устойчивость общества и гарантировали продолжение жизненного цикла.

«В современном мире мы ориентированы на деньги, поэтому именно они указывают, где находится центр власти, – пишет Стендейдж. – В древнем мире таким маркером была еда» (с. 68). Именно она выполняла роль универсальной валюты, а также средства различных платежей. Подобные

взаимоотношения реализовались в разнообразных формах, но в каждом случае их структура определялась одним и тем же фактором – продуктами питания. Соответственно, минимум еды означал минимум власти, причем в разрезе не только физического, но и духовного подчинения. Египетский текст, датируемый 2070 годом до нашей эры, представляет людей как «скот» бога-создателя, за которым тот присматривает и от которого в то же время зависит. Многие культуры приучали своих приверженцев к мысли, что боги сотворили человека ради обеспечения себя духовной силой, поддерживаемой посредством жертвоприношений и молитв, а взамен они облагодетельствовали людей пищей, создав растения и животных. Так, в мирозерцании майя, например, кукуруза состояла из плоти богов, содержащей божественную силу; во время жатвы боги, по сути, приносили себя в жертву, чтобы продлить существование человечества. Обратной стороной этой благотворительности оказывались кровавые жертвы, которые – в частности, у ацтеков – были способом вернуть богам их божественную силу. Налоги в виде продуктов питания и жертвоприношения в качестве божественной пищи, закрепленные религиозной традицией, цементировали социальные устои.

Интересны авторские рассуждения о специях и их месте в истории человечества (часть III «Всемирное движение еды»). Эти компоненты питания издавна считались чем-то вроде противоядия от нищеты и обыденности; более того, в некоторых культурах их наделяли мистическим смыслом, называя «осколками рая, попавшими в обычный мир». Но влияние специй была обусловлена не только религиозными коннотациями, загадочным происхождением и высокой ценой: на протяжении столетий они оставались природным ресурсом, определявшим политику целых империй. Именно погоня за пряностями позволила

полностью освоить земной шар, попутно спровоцировав раздел мира между первыми великими державами Нового времени. Далее, стяжание сухих корешков, сморщенных ягод и толченых веточек подтолкнуло коммерцию: оно вызвало к жизни международные торговые дома, ставшие прообразами будущих транснациональных корпораций. Наконец, оно заметно способствовало и развитию законодательства, поскольку наиболее удачливые страны старались закрепить свою монополию правовыми инструментами. Например, «выращивание гвоздики вне голландского контроля запрещалось под страхом смерти, а тайная торговля была подавлена» (с. 126). Похожим образом регулировалось и распространение мускатного ореха.

Со временем, однако, прогресс коммуникаций радикально сбил цены на специи, в одночасье сделавшиеся кулинарной обыденностью. Избыточно пряные блюда теперь расценивались как старомодные – и это в лучшем случае. В развитых частях света произошло что-то вроде тихой революции: «Новые продукты, такие как табак, кофе и чай, затмили специи как экзотику и как символ статуса» (с. 128). Развенчивая загадочное происхождение специй и добиваясь обладания ими, их стяжатели собственными руками обесценили заманчивое сокровище: в наши дни покупатели в основном равнодушно проходят мимо стеклянных баночек и пакетиков, занимающих прилавки в супермаркетах. Мировое наследие, оставленное торговлей пряностями, неоднозначно. С одной стороны, великие путешествия, нацеленные на поиски специй, открыли истинную географию планеты; по убеждению автора, с них началась новая веха в истории человечества. С другой стороны, именно борьба за рынки специй подтолкнула европейских правителей к начальным вариациям империализма, заставляя основывать торговые фактории и учреждать колонии. «Отправка европей-

ских путешественников по миру для открытий и исследований в поисках специй обеспечили семена, из которых выросли европейские колониальные державы» (с. 132).

Эпопея со специями продемонстрировала, что люди, контролирующие производство или торговлю ценными продуктами питания, довольно быстро становятся богатыми (часть IV «Пища, энергия и индустриализация»). Занимаясь поиском новых дорогих растений, исследователи, колонисты, ботаники и торговцы не только научились их выращивать, но и определили, где еще в мире они могут прижиться. Это повлекло за собой изменение мировой экосистемы. «Колумбов обмен» продовольственными культурами, в процессе которого на запад перемещались пшеница, сахар, рис и бананы, а на восток – кукуруза, картофель, помидоры и шоколад, составил значительную часть этой истории. Европейцы также трансплантировали урожаи, пересаживая, например, арабский кофе и индийский перец в Индонезию, а южноамериканский батат – в Северную Америку. Автор обращает внимание на то, что в ряду прочих растительных продуктов совершенно особую роль в экономике своего времени играл сахар. Хотя его производство зависело от рабства, оно тем не менее способствовало становлению новой промышленной модели. Изготовление сахара складывалось из целой серии процессов: резки сахарного тростника, его прессования для получения сока, кипячения и снятия пены, охлаждения, в ходе которого образующиеся кристаллы и рождали собственно сахар, а также перегонки оставшейся патоки в ром. Желание увеличить прибыльность процесса постоянно требовало разработки все более изощренной технологии и тщательно продуманной специализации процессов, а следовательно, и более качественной подготовки работников. Фактически сахарная отрасль в XVII–XVIII веках сделалась флагманом научно-технического прогресса.

Не менее прочно в экономике тех столетий утвердился и картофель. Однако первоначально к нему относились с недоверием: корнеплод не был упомянут в Священном писании (хотя перечню встречающихся там продуктов позавидовал бы любой супермаркет), и поэтому некоторые священники полагали, что «Бог не хотел, чтобы люди ели его» (с. 149). Идентификация картофельных клубней с ядовитой семьей пасленовых тоже не способствовала поддержанию репутации картошки: она стала отождествляться с колдовством и поклонением дьяволу. В начале XVII века картофель полагался подходящим кормом преимущественно для животных; человек употреблял его только в крайних случаях, когда не оставалось другой еды. Позднее, однако, комбинация голода и войны, а также административное продвижение этой культуры по всей Европе привели к тому, что к 1800 году картофель стал важным новым продуктом питания.

Пищевые ресурсы, обеспечивающие жизнедеятельность человека, не могли не проявить себя в военных конфликтах (часть V «Еда как оружие»). Автор вообще называет еду, а точнее, контроль над поставками продовольствия, самым разрушительным и эффективным оружием в истории военного дела: «На протяжении большей части человеческой истории еда была в прямом смысле топливом войны» (с. 178). Свою мысль Стендейдж в изобилии подкрепляет историческими примерами из всех эпох – от античности до наших дней. В качестве показательного приводится казус Наполеона, который не ожидал, что его армии после взятия Москвы придется зависеть от везения в добычании пищи – именно продовольственная катастрофа стала главной причиной поражения французов. Впрочем, позднее подобная зависимость понемногу изживала себя, а еда и корма переставали быть критическими элементами военного снабжения: «К середине XX века

продукты примерили на себя новую роль – идеологического оружия» (с. 208). Как отмечается в книге, мировоззренческое противостояние между капитализмом и коммунизмом, сопровождавшее вторую половину прошлого столетия, всерьез началось с «пищевого сражения» за Берлин. На плакате 1949 года, выпущенном в США в разгар функционирования берлинского «воздушного моста», была изображена девочка со стаканом молока в руках, над которой пролетает транспортный самолет, разбрасывавший все новые и новые молочные порции. Слоган под картинкой гласил: «Молоко – новое оружие демократии» (с. 214). Первая битва «холодной войны», как и многие последующие, велась не снарядами или бомбами, а молоком, тушенкой и солью.

Впрочем, сама идея использования продовольствия для решения политических задач родилась гораздо раньше: как пишет Стендейдж, в 1791 году британские потребители впервые выразили протест против рабства, отказавшись от потребления сахара. И, хотя некоторые современники утверждали, что бойкот, сделав рабов бесполезными, лишь усугубил их положение, эта акция, несомненно, спровоцировала в Британии общественную реакцию против торговли людьми. В сущности, аналогичным образом работают и нынешние общественные дискуссии, в которых поднимаются те или иные социально-политические проблемы, прямо или косвенно связанные с едой. Реальное значение таких дебатов «заключается не столько в их прямом воздействии, сколько в том, что они являются для правительств основным индикатором политики и побуждают к действиям и изменениям» (с. 240). Действительно, в последние десятилетия этот тезис подтверждался многократно.

Завершается книга анализом «зеленой революции» и ее противоречивых социальных последствий (часть VI «Еда, население,

развитие»). Широкое применение химических удобрений и высокопродуктивных семян, особенно в развивающихся странах, начиная с 1960-х годов преобразовало не только сельское хозяйство, но и всю общественную жизнь. Сдвиг начал оформляться еще в XIX веке, когда ученые впервые осознали решающую роль азота в питании растений, попутно сделав вывод, что без удобрений, питающих зерновые культуры и способствующих наращиванию продовольственного производства, значительная часть человечества скоро столкнется с недоеданием или голодом. «Зеленая революция» обернулась удивительными результатами: позволив семикратно нарастить производство продовольствия, она помогла сотням миллионов людей избавиться от нищеты и способствовала быстрой индустриализации Китая и Индии. Вместе с тем ее побочные эффекты в сфере экологической практики и социальной жизни вызвали заметную негативную реакцию.

Критики «зеленой революции» утверждают, что она разрушила традиционные способы ведения сельского хозяйства и поставила фермеров в зависимость от дорогих семян и химикатов, поставляемых западными компаниями. Более того, скептики продолжают сомневаться в долгосрочной устойчивости химически интенсивного сельского хозяйства. Тем не менее несомненным остается то, что этот процесс не просто изменил мировое продовольственное снабжение: во второй половине прошлого столетия он преобразовал весь мир (с. 244). Что же касается долгосрочных последствий «зеленой революции», то их адекватная оценка еще впереди. К началу нынешнего столетия на генетически модифицированные сорта зерновых культур приходилось более 85% всего выращиваемого объема в Азии, 90% – в Латинской Америке, более 65% – в Африке и на Ближнем Востоке. Между тем в период с 1950-го по 2050 год население планеты должно

увеличиться в три раза. Иначе говоря, новый раунд «зеленой революции» с новыми химикатами и генетическими чудесами не просто возможен, но и неизбежен. Причем реализовать его придется на фоне изменения климата, истощения сельскохозяйственных угодий и деградации экосистем.

Влияние еды на историческое развитие автор сравнивает с прохождением целой серии невидимых развилок, фундаментально менявших социум, но при этом оставшихся не замеченными большинством

людей. Нет никаких оснований сомневаться, что люди будут есть всегда – чем они, собственно, и раньше всегда занимались. Именно это позволило рецензенту «The Financial Times» увидеть в этой книге «безусловно, свежий и прекрасно поданный рассказ о том измерении человеческой истории, которым обычно пренебрегают»². С этим утверждением вполне можно согласиться.

Юлия Крутицкая

2 TICKELL C. *An Edible History of Humanity by Tom Standage* // The Financial Times. 2009. May 18 (www.ft.com/content/7d202ea0-40dc-11de-8f18-00144feabdc0).